

Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам

О.Ф.Бергольц

Вспоминать своё детство горько, страшно, без слёз невозможна, а писать ещё горше. 22 июня 1941 года был тёплый, прекрасный, солнечный день. Я бежала к подружке Зое Константиновой, чтобы идти с ней купаться на любимую речку Кузьминку (приток реки Сестры). И вдруг из репродуктора раздался взоворнованный голос, он сообщил, что началась война (это был голос В.М.Молотова). Я остановилась, как вкопанная, не могла решагнуть рельсы, на которых в тот момент стояла: только год и три месяца, как закончилась Финская война, которая начиналась на моих глазах, в ней семнадцатилетним юношей воевал мой брат, Агранов Виктор Иванович. А сейчас он служил действительной службе, значит, мог уже и в бою быть. Стало страшно за него и за всех.

Вскоре люди стали собираться на ступеньках красивого, любимого вокзала, который был для нас, детей, в Финскую войну и домом, и клубом, и буфетом. Там мы проводили почти целые дни, потому что наша начальная школа №14 все три месяца не работала, а родители были на службе, кто в Ленинграде, кто в Сестрорецке. И вот со ступенек этого вокзала мы увидели самолёты со свастикой, летевшие в сторону Ленинграда. Были слышны взрывы, стреляли зенитки... Стало очень страшно.

Враг очень быстро продвигался. В июле мы покинули Белоостров, поселились у моей тёти, которая снимала тогда жильё у семьи Алатало (ул. Урицкого, дом 10). А из тех, кто оставался в Белоострове, Александровке, Старом Белоострове, многие погибли, потому что просто не успели вовремя покинуть свои дома. А потом не осталось ни Редуголя, ни Белоострова, ни Александровки... Когда мы вернулись из эвакуации, то сразу поехали в Белоостров, но его не было, как не было и красавца вокзала, камня на камне не осталось. Больше я никогда там не бывала.

Хорошо помню день, когда от вражеского обстрела загорелись на Песках деревянная начальная школа и швейная мастерская, в которой работала мама и тётя. Это было 6 августа – в этот день мне исполнилось 12 лет. Население Сестрорецка уже покидало город. Вскоре и мы перебрались в Ольгино. На Садовой улице стоял большой деревянный красивый дом, там поселились несколько семей из Сестрорецка. Взрослые, в основном, работали в Ленинграде, а дети ходили на поля, собирали остатки овощей. Дом, где мы жили, стоял недалеко от платформы, мы часто встречали своих родителей. Однажды с платформы мы увидели, что горизонт окрасился в багровые тона. Как потом мы узнали, это горели Бадаевские склады, и было это 8 сентября 1941-го.

Ещё как-то в сентябре мы ездили к знакомым на Васильевский остров, вместе пошли в баню. Вдруг тревога – бомбёжка! Приказ: «Быстро в бомбоубежище!». Мы, схватив бельё, полупомытые, полуодетые спустились в убежище. А некоторые люди не захотели прерывать такое приятное занятие (тогда ещё не часто бомбили). Когда прозвучал отбой воздушной тревоги, мы, уже одетые, выйдя на улицу, увидели страшную картину: бомба попала в баню. Это и сейчас без содрогания, ужаса и боли я вспоминать не могу. Но, к сожалению (а может, и не к сожалению), этого никогда не забыть...

В конце октября – начале ноября сестроречане стали возвращаться

pobliже к Сестрорецку. 7 ноября мы были уже в Разливе на 2-й Тарховской улице (дом 38 или 40). Хозяева Ильини поселили нас в маленьком уютном домике с верандой, кухней и двумя комнатами. В одной из них стояла швейная машина, на которой работала моя мама, Агранова Екатерина Михайловна, и моя крестная мама (кока), родная моя тётя Бухарина Анна Михайловна. Они были надомницами и шили для наших бойцов рукавицы с двумя пальцами. Работали они на ленинградской швейной фабрике. Там мы получали продуктовые карточки: две служащие (почему не рабочие – не знаю), одну иждивенческую и одну детскую.

Моё дело было отоваривать карточки. Хорошо, что магазин был рядом – на углу 2-й Тарховской и 2-й Поперечной. Если были длинные очереди, я могла «сбегать» (точнее – сползать) погреться. Меня всегда отпускали, даже в такие тяжёлые времена детей старались ободрить хотя бы ласковым словом. Стужа становилась всё злее, морозы крепчали. В декабре 1941 – январе 1942 года доходили до – 40! Для меня это было самое страшное. Я почти не боялась воя самолётов, грохота обстрелов, а вот холод меня убивал. Думаю, меня спасло, что я всё время двигалась: то в магазин, то в лес с саночками. А ведь уже на ногах гноились ранки, цинга давала о себе знать. Чтобы по-

карточкой. Тогда уже давали 200 г на иждивенческую. Вскоре свезли мы его в Тарховку.

Наступил март, горький-горький для нас месяц. Мама заболела, мне тоже нездоровилось. Пожалуй, так и говорить-то нельзя, потому что здоровья уже не было совсем, а была дистрофия, которая в любой момент могла «победить» – сгвести в могилу. Тем более, что в этот момент остались без детской карточки. Мы с мамой лежали, кокочка за нами ухаживала, а карточку надо было получать; мы попросили об этом женщину, которая работала вместе с мамой и тётей. К несчастью, детскую карточку нам она не привезла, сказала, что потеряла,

помогла женщина – это уже было рядом с ямой, куда надо было опустить самое дорогое мне существо... Думаю, что это была тётя Тася, мама моей подруги Гали Лукосяк. Их родные тоже покоятся там. А дом Лукосяков навсегда стал родным. Меня там очень любили. Несмотря на то, что у тёти Таси и дяди Вити было четверо детей, в этот дом тянуло всю четверку. Мы и сейчас дружим с Ларисой Лукосяк, самой маленькой, которая родилась в 1940 году.

Так получилось, что в какой-то момент наши посёлки Разлив, Тарховку, Александровскую не обеспечили хлебом. То ли непрекращающиеся обстрелы повредили полотно, то ли это совпало с теми страшными днями, когда из-за остановки электростанции 23 января 1942 года три дня не работали хлебозаводы. Голодные люди не получали хлеба... И вот в такой момент пришла помощь от наших защитников. Наши мамы говорили, что это сделали кронштадские моряки. Нам выделили на человека 42,5 грамма сухарей, мы должны были получать их по нашим карточкам.

Моя школьная подруга Вера Ковалевская никогда никуда не уезжала, до сих пор так и живёт в своём доме на 2-й Поперечной. В блокаду мы жили рядом, она знает и Ильиных, и Галю Кокаулину. Она помнит этот факт и рассказала, как они (мама, Вера и её сестра) делили сухарь на троих.

Как часто слышишь и читаешь, что в наши годы было одно плохо, другое скверно... Но вот скажите, какие должны были быть дисциплина и порядок, чтобы так быстро всё организовать? Если бы ни эта бескорыстная помощь, то половина (а может, и больше) населения, которое осталось в посёлках, умерла бы. Это же уникальный Подвиг!

Я в первый день не получила сухарей – не досталось. Что делать? пришла к знакомым и сказала, что кокочка не может двигаться – отекла. Они мне дали кусочек сухаря (наверное, 42 грамма). Пришла я домой, согрела соснового чая и «накормила» свою вторую маму: не могла я допустить, чтоб она умерла. Она не умерла, её спасла доброта. На следующий день я получила положенную нам норму сухарей. Это был праздник: ведь сухари были ржаные, вкусные! Говорят всё было: и людедство, и мошенничество, и воровство, но я – о Добре. «О да, мы счастье страшное... открыли – достойно не воспетое пока, – когда последней коркою делились» (О.Бергольц).

1 апреля тётя получила карточки – уже только две: детскую и служащую. 2 апреля, день Пасхи я никогда не забуду. Кокочка была глубоко верующим человеком, быть может, это и предавало ей сил. В домике всё сияло чистотой, всё было бело-розовым. В те дни это была такая редкость. И хлебушек появился, и даже она состряпала какие-то лепёшечки. Она молилась. Потом мы сели за стол, ели, пили всё тот же сосновый чай, плачали. В мае нам выдали американский шоколад, но нас всё равно мучил голод, есть хотелось всё время.

Вскоре от Ильиных мы переехали к Киселёвым. Они жили на Большой Ленинградской, недалеко от деревянной школы, по той же стороне. С Валей Киселёвой я училась в 1-й (434-й) школе после эвакуации. Помню, выходила гулять, садилась на лавочку, а тётя Лиза (фамилии, к сожалению, не помню) мне приносила из Сестрорецка крапиву, лебеду. Я уже из-за дистрофии ходить почти не могла, она меня жалела и хотела помочь. Потом мы переехали к Рулечевым, на Большую Ленинградскую, что напротив каменной школы (тогда она была ещё двухэтажной). Совершенно невероятным образом к нам на сутки приехал муж тёти (Павел Тихонович Бухарин), он защищал Ленинград у Шлиссельбурга. Привёз нам разбухшее зерно. Бойцы это зерно



27 января 1944

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Моё блокадное детство



Ученики 4-го класса Белоостровской школы №14, 1941 г.

Зима надвигалась быстро, суро-вая, морозная. 20 ноября снизили нормы хлеба, мы с дедушкой стали получать по 125 граммов, а мама и тётя – по 200. Как хорошо, что у нас сохранилось ещё немного мороженых овощей, которые мы насобирали в Ольгино. Часто мама и моя крестная оставалась в Ленинграде, когда отвозили товар: сил уже не хватало приехать назад. Было и так, что иногда до Лисьего Носа поезд не ходил. И вот две голодные женщины, погрузив на саночки сшитые рукавицы, шли пешком. Как они добирались по снегу, холоду, одному Богу известно. Но тогда все так работали, не щадя себя, да иначе и нельзя было: карточки-то надо было получать, и рукавицы для наших бойцов были необходимы. Нашей с дедушкой заботой были дрова, продукты, вода. Мы возили хворост, кое-какие дровишки. Вскоре дедуля не смог мне помочь: он ведь был очень старенький.

лучить мизерные нормы хлебушка в магазин, всё равно надо былоходить. Ноги очень болели, я вынуждена была отпрашиваться у очереди, чтобы сходить домой отмочить прилипшие от гноя чулки. Хотелось всё время есть. Ремни уже все были сварены, клей – тоже. Пили невкусный, но обязательный чай из иголок сосны. Чтобы как-то себя поддержать в самое голодное время, мама сняла свои любимые золотые серёжки с бирюзовым камнем (красивые-красивые, ей их папа подарил) и обменяла на полкило пшена. А кокочка – золотые нагрудные часы – на полкилограмма хлеба. Было и такое, что кто-то обменивал лишние продукты на ценности. Но Бог им судья!

17 февраля 1942 года умер дедушка, Жохов Михаил Петрович. Завернули его в простыни и положили на веранду, не хоронили сразу (мороз был нам помощником), чтобы можно было пользоваться его

якобы где-то обронила. Может, так и было, а может, и не так.

Мамочка совсем ослабла, почти не вставала, почти не ела. Я теперь это хорошо понимаю: она свои крохи отдавала мне. Тётя продолжала работать. Наступил самый страшный для нас день – 21 марта 1942 года. В этот день умерла моя мамочка, нежная, ласковая; у неё был удивительный характер. Я никогда не слышала, чтобы она повысила голос хоть на кого-нибудь, всем она хотела помочь, всегда была весёлая. А как она пела! А коса у неё была каштановая, ниже пояса... Плачу... И опять она позабочилась обо мне – мы до 1 апреля пользовались её карточкой. В конце апреля я свезла на саночках мою маму в Тарховку. Там была большая яма, где нашли свой последний приют маленькие и взрослые блокадники. Когда я её везла, мне попадались навстречу взрослые, и каждый говорил: «Девочка, ты только не садись...». Около дома Лукосяков мне

поднимали с затопленных барж. Я слышала, как он сказал тёте: «Спаси хотя бы Надю». Это были его последние слова; мы попрощались... Больше я его никогда не видела.

В нашем дворе в большом двухэтажном доме был филиал детдома, что располагался в деревянном здании 1-й школы. Меня туда звали, но кокочка не захотела со мной расставаться. Мы стали готовиться к эвакуации. Во второй половине июня большая группа измощённых сестроречан приехала на Финляндский вокзал. Он был разрушен, но по правую руку стояла какая-то конторка, там нам выдали по буханке хлеба. Боже! Какое это было богатство! Так хотелось съесть всё сразу, не отрываясь, но моя мудрая кокочка всё понимала: теперь-то любыми путями надо спасти меня. Я понимаю, она всё время молилась.

Мы приехали на берег Ладоги, забрались в камыши, вероятно, чтобы нас было не видно, и просидели там всю ночь. Утром подошли катера, они привезли продукты для осаждённых ленинградцев. Разгрузились. Нас пригласили размещаться по катерам. Один катер был больше других, красивый, теперь бы сказали – комфортабельный. Все «побежали» туда, а мне по душе были маленькие. Не захотела я в большой. День стоял солнечный, тихий, катера отходили от берега друг за другом. И вдруг всё заволокло

то люди, увидев меня, убегали домой и возвращались с какой-нибудь снедью.

Первого сентября – школа. Разноликая: казахи, украинцы, немцы, русские, евреи, болгары, чеченцы... До сих пор (67 лет) дружу с Элей Шуман. В нашем классе это была самая умная, талантливая, грамотная девочка. И некоторые учителя были из Ленинграда. Помню Нину Михайловну, учительницу русского языка и литературы. Но больше всех мы любили Ольгу Ивановну Серкову. Она преподавала в младших классах, но всё время находилась в школе, и мы всегда бегали к ней со своими вопросами и проблемами, их у нас было много.

В мае после тяжелой болезни я вынуждена была учиться ходить заново, как когда-то годовалая. Все меня навещали: одноклассники, учителя, наши друзья – блокадники. Все старались хоть чем-то помочь. К концу мая я научилась ходить, но экзамены за пятый класс, естественно, сдавать не могла: ведь я проучилась всего один месяц. А ещё и в блокаду был пропущен целый год. Так не хотелось отставать от одноклассников. И тут на помощь пришла наша любимая учительница Ольга Ивановна Серкова. Всё лето она занималась со мною, отдавая мне много сил и терпения.

9 мая – это незабываемо! День был чудесный. Солнце радовалось



Тарховское блокадное захоронение

дымкой, поднялся ветер, зашторило, катера стало подбрасывать на волнах. На несчастье появились самолёты и стали сбрасывать бомбы. Одна из них попала в большой катер, дым рассеялся, и на месте катера плыли какие-то обломки. Не передать, какой страх, ужас и гнев мы испытали. И ещё удивление... Есть ли Судьба на свете? Не знаю. Какое-то предчувствие, интуиция. Но у двенадцатилетней девчонки?

Часа полтора-два добирались до Кабонны. Там нас встретили женщины в белых халатах, накрытые столы, каша с маслом (сливочным!), хлеб настоящий, сгущённое молоко, горячий сладкий чай... Но кто-то не сдержался и накинулся на это обилье, заболел. Многие умерли: и дети, и взрослые. Медики ходили за всеми, умоляли, предупреждали, но многие не смогли сдержаться. Из нашей группы не умер никто. Вскоре нас разместили по вагонам, дав нам с собой и хлеб, и сгущённое молоко. Над нами кружили самолёты: то наши, то немецкие. Нам очень повезло; поезд под бомбёжку не попал. Мы постепенно въехали в такие места, где было тихо, войны стало не слышно. Я просыпалась ночами и думала только о еде. У меня была страшная дистрофия, и если бы я осталась в Ленинграде, навряд ли бы выжила.

Ехали долго. Ташкент нас не принял, Алма-Ата, Семипалатинск – тоже. Но в Семипалатинской области есть станция Чарская, вот там нас приняли. Распределили кого в аулы, кого – по посёлкам, а кое-кто остался в Чарской. Нашим первым пристанищем был казахский аул. Никогда не забуду, как радушно нас встретили. Всё старались накормить своими вкусными блюдами. До сих пор помню их толокно с айраном (кислое баранье молоко). А когда мы ехали по деревне (деревня Покровка, где прожили ровно год),

вместе с нами. Весь посёлок вышел на площадь: слёзы, смех, объятия, музыка, песни, пляски. Празднику не было конца... Мы сразу стали собираться домой, в Сестрорецк, но надо было сдавать экзамены за 7-й класс. Его я закончила с одной четвёркой, по истории. В конце июля мы уезжали из Чарской. Ехали через Новосибирск, там нам пришлось задержаться: тётя заболела, температура +40, у неё опухли ноги. Такое вот горе среди радости свалилось на нас. Среди суматохи и неразберихи на вокзале нас «обчистили». Я это слово пишу намеренно. Всё, что у нас осталось, это маленький пакет с едой и, слава Богу, билеты. Вероятно, пока я их компостировала, нас и обокрали. Это был единственный случай, когда на нас обрушилось Зло. В поезде же Новосибирск – Ленинград тёте облегчили её недуг добрые люди.

Добрались до Разлива. Там я сидела на скамейке напротив больницы, а тётя ушла искать знакомых, которые могли бы нас приютить: ведь в Сестрорецке на улице Урицкого нашего дома уже не было. Вдруг у меня начался приступ малярии, я потеряла сознание. Очнувшись, увидела вокруг себя взволнованных людей, в том числе, и в белых халатах. Проступ прекратился, и больше никогда в жизни меня малярия не беспокоила. Странно, интересно и непонятно, но, наверное, так угодно было моему Ангелу-хранителю. Так закончилась моя блокада.

Свои воспоминания я хочу закончить стихами Юрия Воронова:

Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!

Надежда Ивановна Кононенко (Агранова)